

*От автора.* В 70-е годы было у меня четыре литературных потрясения: «Сто лет одиночества» Маркеса, «Царь-рыба» Астафьева, тетралогия «Братья и сёстры» Абрамова и «Прощание с Матёрой» Распутина. Воочию Валентина Григорьевича увидел в Вологде — на выездном секретариате СП России в самом начале нулевых. Запомнился его печальный, если не сказать скорбный, взгляд. Как теперь известно, это была пора работы над повестью «Дочь Ивана, мать Ивана». По прошествии времени облик Распутина слился в моём восприятии с известным портретом Достоевского, где классик сидит в задумчивости, обхватив руками колено.

Пересечения бытийные — это Афон. Монашеская республика живёт вне времени и пространства. Распутин там побывал в начале тысячелетия, я — в начале текущего десятилетия. Очерк паломника Распутина «На Афоне» прочитал недавно и словно вновь побывал в русском Пантелеимоновом монастыре, которому тоже посвятил записки — «За отчину и дедину помолюсь».

Обращаясь к древней истории, Валентин Григорьевич поминает в своём очерке не только равноапостольного князя Владимира — крестителя Руси, но и княгиню Ольгу, его бабушку, которая первой из княжеского семейства крестилась в Константинополе, а ещё — Андрея Первозванного, «который в своём апостольском служении... доходил до онежских вод и новгородских земель». По сути, Христов ученик — апостол Андрей не только принёс свет Истины в северные пределы — он наметил вотчину, с которой начнётся путь к Православию. Ведь именно на Новгородчине и Поонежье прошло отрочество и юность князя Владимира, поставленного великим князем Святославом, его отцом, на новгородский стол. Вот о той поре речь в моей небольшой повести.

*Михаил Попов*

У рожиного оказалось четыре зуба. Он так прикусывал соски, что матери губы себе искусала. Что делать? Чадо блажит, ись просит. Матери извелась — и от боли, и от кручины. А покормить никак — молоко кровью даётся, а то и вовсе пропадает. Дали младенцу кормилице — та тоже в рёв. Другой — тоже. Тогда Малуша, матери рожиного, расшатала те ранние зубёшки, вытащила их и наконец-то утолила голод дитяти.

И так всё, верно, и забылось бы — эка невидаль утрата молочных шоркунков! Да ведь отцом чада был князь Святослав, киевский державник, и выходит, ребяёнок, названный Владимиром, явился на свет князем, даром что родила его холопка — князева ключница. Прознала о содеянном бабка младенца, княгиня Ольга, и до того разгневалась — как де рабычица позволила самоуправство, — что сперва приказала полосовать плетью, а поостыв маленько, приказ отменила и велела гнать ослушницу со двора.

Как убивалась Малуша, что её разлучают с рожиным дитятком! Лучше плетью, чем воля! Как стенала на забрале, устремляя очи в закатную сторону, куда походный конь унёс князя! Где ты, ладу? Как молила вихорь донести на Дунай свои горячи слёзы! Оборони, любый! Всё было тщетно. Спровалили Малушу с господского двора едва не батогами. Дозволила ей княгиня токмо одно — надеть сынку оберег-ладанку. Не боле...

Простыл след Малуши, словно её и не было. Куда унесло рабычицу, старая княгиня не пыталась. Но ладанку-оберег, которой игрался младенец, однажды растворила.

В кожаном мешочке оказались те самые шоркунки, скреплённые белокурой прядкой младенца; в ту же связку были вплетены русые волосы из оселедца отца да каштановый завиток матери, а ещё животинная нитка — не иначе жилка жертвенного быка, забитого на Подоле в честь новорожденного. Насупилась старая Ольгица, оглядев языческий оберег, да всё же не воспротивилась. Смирило её одно — пёрышко голубиное — символ Свята Духа, оплетённое прядками. И положила она во внукову ладанку свою память — резной кипарисовый крестик, привезённый тремя годами ранее из града Константинополя, где она, Ольга, крестилась.

Что будит его ни свет ни заря? Отрок в полглаза размыкает веки. Огня нет — постельничий служка, вечер бубнивший «Влесову книгу», не уследил, сморённый дрёмой, — светец сгас. Будить не будить?

Глаза отрока тянутся к бусоватому оконцу. В суметках оно едва угадывается. По слюдяным вставкам мечутся тени. А за оконцем буйствует непогода, заглушая похрапывание служки и мурлыканье котофея, что пригрелся в ногах.

«Студенец — месяц-оборотень», — вешает старая Улита. А ить ежели прислушаться, и впрямь. То как ведьмедь-шагун, до поры спокинувший берлогу, трещит лесинами, безумствуя от голода. То будто домовою колотит на подволоке, мол, не спи, большуха, даром что ночь, вставай, печь топи, да, мотри, жарче, не то стужа-кощеица живо хоромы в полон возьмёт. То татем свищет в два пальца, погоняя запоздалого ярыжку. А то взвизгнет, ровно пьяная ведьма, и, заметая подолом позёмки собственные следы, унесётся куда-то за детинец.

Кот-баюнок перебирается ко взголювью, поуркивает заботно и наставительно. Дрёма, опахивая веки, опять кунает в сон. Кто это с прялицей? Али не с прялицей? Неуж, ведьма на помеле? Нет, не ведьма. То опять старица. Что-то бубнит. Наставляет? Али спрос ведёт? «А вот тебе, дитятко, красно солнышко!» В руках Улиты блюдо медное, а в блюде клюква алая, изморозью обсахаренная.

Отрок ворочается, размётывая овчиную полость. Пошто не спится? Ненастье ли пробудило — то, что снаружи? Али ожиданьице чего-то — что деется внутри? «Спи ужо!» — урчит кот-баюн.

Улитина прялица украшена Ярилой. Куделя на лопасти, что туча громовая, застит красно солнышко — ни просвета. «Скоро ли, бабенья, счахнет зима?» — «Скоро, батюшка. Куделю-то спряду — тоdle и возвернётся весна-красна. Вишь, краюшек отворился». Напервы-то он поверил — убедила старая. Да потом смекнул, что кудели-то у бабени разные: то сивая — это от ярочки, а то аспидная — от чёрного барана. Осерчал было, догадавшись, дверью хлопнул. Да сердце-то отходчивое — на другое же утро опять наведался в пряльную горенку. А Улита ему — обновку: наголовки вязанные на ноги. «Садись, батюшка, примеряй». Налогвки мягонькие да тёплые, хошь вместо катанок обувай.

Наголовки, что котофеи, — порск, и вот уже бегут по снегу. Навроде сами по себе. А будто и его несут. Куда путь ладят коты вязанные? А вон куда — к жару печному, к горну кузнечному. Мехи бучат полымя, железо калят. Кольчуга, кою куют-ладят кузнецы-молодцы, уже собрана. Остаётся последок — зеркало нагрудное. Вот старый коваль суёт в горн щипцы-сорохваты и вынает из полымя алое марево. Во сне оно так и замирает на весу, ровно солнышко красное над студёным окоёмом.

Снова посвист позёмки. Дрёма прядает с вежд, будто мысь с ветки, да недалеко. Куда ж ей бечь на ночь глядячи? Но ушки-то у той мыси на макушке.

Что за звуки имает слух? Ягняши ли в хлеву топочут, волка почуявши? Филин ли гугнит-ухает, осердясь на мышь, сослепу проворонив репишницу? Али говорчей доносится? Неужто служка? Очнулся малый да и принялся честить «Влесову книгу»: «...ибо в той бездне повесил Дажьбог землю нашу, дабы она была удержана». Не-ет, то не служка. Что разглядишь в мороке? Это ставенька бубнит, сиверику вторя, то мерно, то скороговоркой, то будто жалясь на долю-судьбину, а то затихая-притаиваясь.

Снова сонная паволока накрывает вежды. И снова накоротке. Где-то встрескивает от стужи охлупень али кровельная доска. Тотчас взлаивает перепуганная собака и столь же быстро умолкает. А в слюдяную околелку опять хлещет снежным горохом. Эк разгулялся студенец, будто буян-забияка. До свету будет лютовать-зубоскальничать. А светать-то начнёт не скоро. Здесь, в Новегороде, зима долгая, а день короток, что тебе горобейкин скок. Не то что в стольном Киеве.

Миг всего — и сон-скороход уносит отрока на Днепровские кручи. Под подошвами ичигов осыпается глина. Меж ног снуют ластовки. Эвон как они утыкали крутояр своими гнёздами, ровно шорники хомутовую сыромятину завойными шильями. Стрекота береговушек не слышать, а вот куваньё зегзицы доносится явственно, будто кто наказ даёт, лета меряя.

Отчина отворяется во все стороны, докуль хватает ока. Расплавленным златом-серебром сверкает кипень реки. Ширь и даль Днепра пластают струги и ляди. Посередке ветрил — лики Ярилы, золотом вапленные. Издали паруса напоминают яблонный цвет, что порошок землю и воду. Явственно наплывает медвяный запах. И тут — диво-то! — из того летучего духа возникает образ маменьки. Утайкой от суровой бабени крадётся она к нему, рожиному дитятке, дабы порадовать наливным яблочком да омыть кудёрки горячей слезой. Не она ли, та слеза, стекает сквозь сон на его взголовьице? А следом — чу! — ровно меч из ножен — врывается на круг сна батюшка. Тут запахи иные. Весь пропахший потом, конской упряжью, дымом костров, тятя-родимец тискает его, младеню, щекоча вислыми усами, даёт теревить оселедец — кручёную чуприну, серьгой золотой с камешками баловать, скалит крепкие зубы, что-то говорит, но речи не слышать, словно голос уносит ярым бореем за Днепровские пороги...

Где всё это, что ласкало-лелеяло твоё краткое младенчество, отрок? Нет уже старой Ольгицы, суровой бабени — почила о третьем годе. Нет уже и батюшки-буйтура — летось сгиб Святослав на ратише с печенегамы, сложив буйну голову у Днепровских порогов. И мати твоя неведомо где, Малуша. Один Добрыня при тебе остался, брат матушки. Он и за мамку, и за тату, и за всех на свете родимцев и доброхотов.

## 2

Спозаранку, едва встав, отрок первым делом наведался к старбене.

— Ну, батюшка, дождались, — молвила Улита, поправляя повойник. — Сончеворот приспел. Зима на мороз ладит, да сонче, вишь, на летечко засбиралось. Сядет в дровеньки и в гору покатит.

А и впрямь ведь перемены округ, даром что ночь всего минула. То дуло, кулемесило, наворачивая сугробы. А ноне тихо, позёмка, что ведьмачила даве, вертя подолом, мышью-крупшиницей обернулась, едва шевелит хвостиком да попискивает. Да и мороз-ухорез подустал и, похоже, не столь дерёт щёки, как намедни. Выпорхнул отрок на красное крыльцо, а ему возок подают — «Добра здравия, князьенька!» — и под юфтевый сапожок ступеньку подворачивают. Владимир ласково всем кивает, мимолётно окидывая двор. Тут, само собой, Добрыня, новгородские первые люди, дале вершинки, вооружённые копьями да сулицами. Кони их ражие ярятся, всадники скалятся, похваляясь удалью да буестью. Да то до поры. Взгляд Добрыни — окорот тем и другим. Разом все примолкают, едва юный князь восходит на возок.

Путь летучего поезда лежит к Словенскому холму. Это недалече от княжеского терема, но Владимир велит править в объезд, вдоль Волхова — уж больно охота глянуть на реку.

Волхов закован в ледовую кольчугу и, мнится, спит мертвецким сном, ровно ратник после брани. Но как река бурлит под панцирем, так и жизнь кипит по берегам. Над хоромами дымы, столбами устремлённые в небо. У ближней проруби

колготится нарядчик, очищая ивовым черпаком зеркало воды. По торной стёжке спускается молодлица с коромыслом на плече. Другая жёнка уже с полными бадейками медленно поднимается в угор. Вдоль реки тянется обоз с сеном.

Но больше всего по берегам Волхова нынче ребяшей. Обрадели, что угомонилась непогодь, прынули на берег горобейными стайками и ну щебетать, ратица шутейные устраивать да с крутояра на чунках летать. Но главное-то не это. Ноне важный день. Нать поглядывать на небо, упредить всех, когда расступятся облачные пелены да покажет свой новороженный лик пресветлый Ярило. И потому ребяши, то и дело задирая головёнки так, что треухи спадают, ведут славицу: «Солнышко, повернись! Красное, покажись!»

Князенька не утерпел, скокнул с возка и присоединил свой ещё ломкий голос к общему кличу: «Солнышко, повернись! Красное, разожгись! В путь-дорогу снарядись!»

А красное-то словно его только и дожидалось. Словно не доставало ему одного-единственного голоса — зова князя. Встрепенулось оно, сначала мглистое, точно яишняя размазня — желток замутнённый белком; потом бледно-жёлтое, что переспелая морошина на мхе-ягеле; и наконец, растопив жаром облачные пелены, выкатилось, ровно молодильное яблоко на синь-блюдо али как калёное зеркало — на твердь наковальни, что под утро приснилось-привиделось князю-отроку.

Ребяши в крик: «Эге-гей, Ярило!» И Владимир с ними: «Эге-гей!» Колобком по кручам покатилося звонкое эхо, уносясь за излучину.

А ребяшам нет угомону. Они дале правят обряд, норovia пример показать Яриле. Садясь кто на чунки, кто на корежки — доски с рожками, похожие на козлят, ребяши летят с круч, только снежная пыль завывается, мол и ты, красное-распрекрасное, погоняй своего коня.

Охота и Владимиру с ними, да дядька-пестун взглядом строжит: не по чину, княже!

А ребяши-то — вот непоседы! — опять что-то затевают. На-ко! С горы огненное колесо покатилося. Запалили сорванцы разошедшееся тележное колесо, паклей набив ступицу, проёмы спиц, и летит оно, рукотворное Ярило, подсакивая на рытвинах, да искры калёные сыплет. Так бы и кинулся туда, на огненное катище, к сверникам-подлётышам! Да нельзя. Добрыня кивком зазывает назад, мол, пора, княже, государевы дела ждут.

Князев поезд следует к Словенскому холму. Тут дедичами да отчичами свито-стоглавое капище, венец Земли Новгородской. По закрайкам холмища — заколыши кудесников, балиев да волхвов, обвязанные пестрядиной, лесовой рукоплетницей и бусами. А посередь темени — столпы праотцов: Перун, Хорс, Мокош...

Ныне славный день — солнцеворот. Свет-батюшка Ярило повернул на лето. Стало быть, не прогневали дажьбоговы внуки своих заступников. Как тут не преклонить колени и не возблагодарить кумиров! Чередом и заповеданным чином кладутся к подножиям их дары. Тут брашка — яства и мёды, новокованая сбруя — мечи, секиры, боевые топоры — чеканы, а дале изукрасы — амулеты, фибулы, змеевики...

Радость на земле Новгородской — новолетие зачинается. Вот как зычно да в лад ведут волхвы величание! Как следом взыгрывают гудошники-дудары, даром что мороз студит уста! А потом и скоморохи пускаются в круг, греясь пляской. А Яриле и любо это! Эвон как щурится, эвон как подмигивает красно солнышко из-

за летучих облачков, а то и приплясывает, скидываясь с облачка на облачко, ровно снегирь с одной заснеженной рябинки на другую.

Величание подходит к концу. Простой люд стекает с холма по снежным верейкам — кому в какую сторону. Конные воротят на торную дорогу — она одна. Последними завершают обряд ближние да степенные люди, которые, откланявшись князю, садятся в возки.

Обратно укороченный государев поезд вертается ближней дорогой. Но передовые вершники к княжескому терему не подворачивают, а минуют ворота. Владимир оборачивается на дядьку: далече ли? А тот в ответ, кренясь с коня, хлопает себя по могучей груди: али забыл, княже? «А-а!» — лицо отрока озаряет улыбка: доспехи примерять.

В начале студенца Добрыня призвал к князю оружейников. Приспела пора новую сбрую справить. Сыновец растёт, рамена ширятся, плотью наливаются. Нать новую кольчугу, подзор, наручи. Нать шелом новый. Возьмётесь? Чего ж не взяться, ответили мастера, тут же сняли мерку с князя, завязав на верёвчатой сажени узелки, и назначили примерку на день солнцеворота.

И вот давешний сон оборачивается явью. Стало быть, в руку. Князьенька с дядькой — в кузне Ярёмы. Тут дымно, стоит железный звон-гам, искрит железо, из кади с водой пыхает пар, из лохани с ворванью — чад, когда в них попеременке суют для закалу булат, творя при этом заговорные шептанья.

Горны кузнечные, коли в доспехах надоба, не гаснут ни днём ни ночью. Оборона промедления не терпит, знай поворачивайся. Но для знатных заказчиков делается исключение. При появлении князьеньки и его наперсника стукоток в кузне заметно смолкает. Отставив заделье, ковали стекаются на серёдку. На ногах бахилы полстяные, телеса фартуками грубой кожи окутаны, волосы берестяными гайтанами забраны. Чумазые, страховитые, белые зубы скалят. Ярёма, могучный, вровень с Добрыней богатырь, супит брови, остужая норов работников. Да при виде князя-отрока и сам не удерживает улыбки: «Многая лета, княже!»

И вот начинается примерка. На Владимира надевают ратные байданы. Кольца, из коих собрана кольчуга, вызывают боеву песнь. Верх борони пластинчатый, подзор — тоже. На запястьях кованые наручи, они оттягивают чешую рукавов и подчёркивают рамена. Всё пока схвачено на живую нитку. Но главного не отнимешь — скроено ладно.

Что ещё? Зерцало. Место для него посередь груди, там, где солнечное сплетение. Вот оно, ярое, вызревает в горне. Ярёма кивает напарнику, надевает нагольные рукавицы и зубастыми щипцами выхватывает из огненного бучила заготовку. Круглое и малиновое, как молодое Ярило, зеркало выкатывается на наковальню! И тотчас — бах! да бух! — молот и молоток берут его в обработку. Летят искры, горячая окалина, но коваль с молотобойцем не уворачиваются, принимая задубелой кожей все укусы калёных ос.

Выгнется зеркало до потребной величины, очистят его от копоти, высветлят дресвой, усилят лучистыми пластинами, особо украсят яблоко — серёдку зеркала, и заиграет оно на княжеской груди драгоценнее любой украсы, а главное, надёжно оборонит — и от стрелы, и от меча, и от копья, коли нацелены будут в его сердце.

Смущён князьенька словами кузнеца. Громливы они, ровно удары молотка, что кладёт он следом за кувалдой, оттягом добываясь нужной формы, но до чего же ласковы да задушевы! Как тут в ответ не улыбнуться! И Добрыня, похоже, доволен: «Ярила в гору — обнова миру. И у нас обновы», — завершает он примерку

и велит, как токмо всё будет исполнено — смётано, шито да склёпано, — доставить сбрую в князев терем.

Кузню Владимир с дядькой покидают. Однако обновление на этом не заканчивается. Впереди — золотошвейня, там украсы для коня.

Орь князев вороной масти давно обьежен. Обихоженный и сытно кормленный отборным овсом, он стоит в деннике в княжеской конюшне, и, когда выведут скакуна на двор, кажется, даже летучие тучи замирают, любуясь его статью и завидуя его норову. Упряжь для воронка шорники справили — и узду, и седло, и стремяна — всё честь по чести. И галдар на грудь вороного готов — ни одна стрела, ни копьё не поразят оря. Остались чепрак да покровец под седло, что в золотошвейне ладят.

При напомниминии золотошвейни у Владимира вспыхивают щёки. Ох, и славно же там, в этой рукодельне. Ровно в саду на Подоле. Кажется даже, яблоки падают и пчёлы тягуче жужжат, до того всё чудесно расцветает, как в погожий день лучистого червеня. С мухояра — ткани бухарской — пышет алое Ярило. Смарагдовый оксамит — шёлк с ворсом из серебряных и золотых нитей — походит на траву-мураву. А согдийский шёлк-камку, кажется, вздымают на распахнутых крылах рукодельные жар-птицы — струфокамилы.

Одно донимает князьенку — поглядки рукодельниц. Больно востроглазые девки-то. Так и стреляют очами — смуту, неведомую доселе, поселяя в груди. Да ещё шепотки их, мнится, ехидные. Цыкнет на них старшуха — баба-бабариха, они примолкнут маленько, присмиреют, да поглядки-то не оставят.

Нонече, конечно, не то. Нынче Владимир с дядькой. При Добрыне девки-золотошвейки никнут, глаз не смеют поднять, ровно мыши крупяные хоронятся. Токмо сердце у князьенки всё равно трепещет, словно щегол в силках. Не оттого ли и ночью маялось? Не эти ли лессовые, русалочьи очи, на миг вскинутые, блазились в потеми?

Покровец под седло швеям задался. Добрыня доволен. Багряная тафта, а по закрайкам узорочье изумрудное, словно глаза павлиньи али... русалочьи. Ведь Добрыня не токмо узорочье примечает. От его ока не утаятся и поглядки. Вон как зыркнули на сыновца те очи из-под брусвенного повоя, что тебе стрела неминучая! Ухмыльнулся Добрыня в окладистую, на всю грудь бороду: рановато, однако. Да приметив ответный взгляд молодца, смекнул, что сроки те уже подходят, ой подходят! — вон как щёки-то его пылают, ровно солнышко нонешнее.

### 3

Сечень выдался ясный да солнечный, даром что мороз не отпускал. День прибывал ходко. На серёдке месяца надумал Добрыня свозить князя в Плесков — новгородскую вотчину. Киев уклад ждёт, а Новегороду одному толь великую подать не осилить. Да и князю пора спознавать свои владения.

Град Плесков юному князю глянулся. Он оказался похож на Новегород. Кремль, детинец, и река в городе, правда, помене Волхова, хоть и Великая.

Псковский голова послал встречу княжему поезду верховых. А в красных воротах встречали государя-новегородца хлебом-солью. Сперва в палатах городских, что на вечевой площади, сладили о размерах виры. Скобская знать держалась степенно — не юлила и не пыщилась — и ответ держала здраво и почестно. Да ведь с Добрыней иначе и нельзя — он всё ведаёт: и какой был умолот, и сколько добыто зверя-птицы, наи-

мано-насолено белорыбицы, насбирано пчелиной борти... Оно, конечно, скоко мер жита в ларе Гюряты-скудельника али репы в сусеках Гориславы, вдовицы кузнеца Угодя, он не скажет. Но о казне городской, на сколько кун она тянет, представление имеет. А потому лучше не лукавь, а что положено — выложи. Чай, не на забавы берётся: на сброю да комоней, без чего дружина не дружина. А не дашь десятины, так ведь можешь всё потерять, и не токмо хоромы, лопоть и закрома — голову. Фряг ли, нурманн, свейский ли немец, али другой какой тать не станут годить, прознавши про твою скудную бороню, мигом кинутся на разбой. Тем паче тут, на самом порубежье. Никакие стены не спасут, коли не подсобит Господин Великий Новгород.

После того как сладили о размерах податей и сроках, хозяева повели дорогих гостей в трапезную. В застолье знатно попили-поели — не поскупились псковичи принять государя: чем богаты — всё выставили. А ещё скоморошиной позабавили, гудошниками-дударями слух умастили.

Князь Владимир, глядячи на игрунов, радовался как малое дитя, даже пальцем показывал. Остался доволен и Добрыня, обласкав кого взглядом, кого улыбкой. И так это сердце умаслило хозяевам, что они разохотились. Чем ещё порадовать дорогих гостеньков? А вот чем — и вспомнили про дар Ольги, бабени Владимира. На вечерней площади, обочь хором оказался амбар тёсанный, отворили его, а там сани — Ольгин подарок родимому граду Плескову от бывшей простолюдинки, ставшей княгиней Киевской.

Внук обошёл дар бабени округ. Сани простые, без особых украс. На полозьях железы, оглобли в железной обойке, копылки не разохлись. «А ну!»

Загорелся князенька, потребовал запрячь. Привели ему с конюшни каурюю кобылку: бабенина любимица, пояснили, немолодая уже, да ещё тяглая. Запрягли. Кобылка взялась мягко и ладно — бубенцы на дуге не дрогнули, да пошла-то степенно, ровно мужня жонка под коромыслом. Миновали улицу, другую. Кобылка трусила в охотку, но — что приметил возница — будто клонит в одну сторону. Князенька поводья опустил, гадая что будет, куда вывезет каурая. А кобылка покатила вдоль реки и вывела не куда-то, а к крестовому храму. Вожатый вершник оказался крещёным. Он и пояснил, что церковь эту древесну в честь Живоначальный Троицы заложила христовая княгиня.

Вернулся Владимир на вечернюю площадь. То румянцем щёки играли, а тут забледнел. Велел другую лошадь запрячь в бабенины сани. Привели ему молодого игреневого жеребчика. Тот бесом въётся, кобенится, шею выгибает. А вступил в оглобли, будто подменили — запритих, присмирел, ровно старый мерин сделался. Князенька тронул, не в пример с кобылкой, завернул ошуйной вожжей, и только потом, когда далече откатали от реки, поводья ослабил. И что же? Да то же самое. Игреньвый орь уже другой дорогой привёз его к Ольгиной молельне.

В третий раз пытаться судьбу князь не стал. Призадумался, нащупал на груди ладанку, где покоился бабенин дар — кипарисовый крестик. Глянул на гречанина-мниха, который вышел на крылечко и, кланяясь, вроде бы манит. И уже было направился Владимир к храму. Да тут остановил его Добрыня. Видя смятение отрока, он велел подать другие сани. Да пошире, попросторнее, да чтобы с запятками. Мол, не в свои сани не садись, княже, — твои иные. И всё с шутками-прибаутками, облегчая Владимиру сердце.

Воля Добрыни — и для князеньки воля. А уж для вотчинного люда и подавно. Живо подали расписные сани, не сани — гусли на полозьях: кузов просторный, по днищу — сенная попона, в ногах — милоть овчинная. Изволь, государь!



А князьенка, похоже, и рад такому обороту: не в свои, так не в свои... Тем паче, что поданные и впрямь куда как красовитей. А уж конь какой в упряжи — не сыскать: могучий, ражий, вороного отлива, особо ярого противу снега. Не ор — клубень перуновой тучи на громобойном раскате. А вожжи шелковые, украшенные бирюзой да окатным жемчугом, что молоньи.

Дядька доволен — добрая запряжка. Но чего-то тут не хватает, хитро шурится он. По знаку Добрыни на запятки вспархивает стайка девок-белянок. То-то щебету раздаётся, словно снегири прынули на огорожу! Вот теперь в самый раз, усмеяется дядька.

Князьенка вспыхивает. Огненный глаз жеребца, пар из его раздутых ноздрей, волнистая дрожь хребта, вскрики белянок, поглядки челяди, широкая улыбка Добрыни — всё воспалит сердце князьенки, наполняя его восторгом. Он трогает поводья. Добрыня на ходу наказывает вершникам, чтобы стерегли, чтоб завернули буде понесёт вороной в яруги. А из-под копыт — уже замаять снежная...

Повозка устремляется к воротам. Черета крепостных запон. Ворота Смердье, ворота Великие — перед князем все нараспашку. И вот уже сани вылетают за кром — и наёмом по наезженной накати, которая скётся вдоль Великой. Застоявшийся ор горячит кровь, переходя на галоп. На раскатах сани заносит. Девки с запяток сыплются, что горох. Смех, визг, причитания. А князьенка знай настёгивает, никому не давая спуска. За спиной, кажется, ни души — облетели. Обернулся. На-ко! Одна из белян так и прикипела к гребню кузова. Волосы, выбившиеся из-под убруса, снегом обмётаны, губы прикушены, глаза, иссечённые встречным свистом, прищурены, однако страха нет, отчаянье, безоглядность — будь что будет! — вот что в них.

«Тр-р!» — вскидывается князьенка, одерживая жеребца, тот ещё в запале, бешеным глазом косит — пошто неволишь? — но натяг вожжей кобенит шею, и вороной медленно утишает гон, переходя на крупную рысь. Не ослабляя поводьев, князьенка мотает головой, мол, давай в сани! Белянка ждать не заставляет, живо переваливается через гребень и тут же оказывается в князевых объятьях.

«Звать-то?..» — пыхает он жаром. «Лю-ба-ва», — она едва разлепляет губы. Глаза синие, ресницы в инее. Щёки горят. А губы-то не застыли. Это князьенка сознаёт, прикикая своими. И до чего же жаркими они становятся, смыкаясь в союзе.

Вороной, не чуя узды, перешёл на шаг, а потом и вовсе стал. В снежной замаяти нащупал соломенные охвостья. Выбил копытом, втянул слабый запах, глазом проследил, куда ведёт житная натруха — вон куда, к овину, что на взгорке. Ворота распахнуты — то ли забыли затворить, то ли открыли проветять. И он потянулся на запах.

Вершники князевы остаются позади. Добрыня наставлял, чтобы глаз не спускали, а коли надо — глаза не мозолили. Вот они и застывают на ближних холмах. Отсюда хорошо видать Скобское озеро, откуль чинят набегу немцы, а также лесовая опушка, откуль крадутся, бывает, оголодавшие зазимьем волки. На холмах стылый тягун. Вершники зябко ёжатся, кляня погоду и службу, да втихаря пеняют князьенке: видать, голову потерял, юнак.

А князь и впрямь потерял... Ведь впервые. Очнулся только на миг, когда вороной втянулся в сутемки овина. Донёсся слабый житный дух, запах прелой соломы. Не отсель ли тянут соломенные снопы, чтобы ладить Кострому, которую потом запаливают на крутояре?.. Догадка коснулась только краешка сознания — пыхнул сам. Что ещё осталось в памяти, так это отблеск удивлённо-обиженного конского

глаза, дескать, что ж ты, хозяин, не ослабил удила, не дал потереть разгорячёнными губами летошней соломы, в которой запуталась повилика?..

Радостный и какой-то замедленно-торжественный, неся себя, как налитую всклень чашу, вернулся Владимир в свою столицу. Он желал, чтобы новгородцы увидели Любаву, оценили его выбор и одновременно противился, чтобы чужие глаза касались его зазнобы. Раздираемый супротивными чувствами, князь проехал в открытом возке по всем концам Новгорода, словно напоказ выставляя Любаву, а потом затворился с нею в своём тереме и глаз не показывал.

Новгородцы маленько поусмешничали над своим князенькой, пошто, дескать, девка-то не своя, а скобская. Но распалиться ревностью шибко не стали, объясняя выбор наследственностью: Ольга де бабка тоже ведь отгеть. Ничего, пушай малый покуролесит, на то и молодость — нешто не понятно. Но уже на верхосытку-то новгородскую беляну подберём, а там и оженим князеньку.

Разговоры те заглазные не доходили до Владимира, собачим брехом утихая у господских ворот. Да что с того! Квашня отдельная, да закваска-то в ней та же бродит. Оттого и неприятно стало Владимиру даже в своём тереме. Искал уединения, укромного уголка для себя и для Любавы, а тут куда ни ткнись — везде бабки-бабарихи, постельничьи, сенные девки... Ране-то не замечал, сколь их много. А нынче будто нарочно на глаза лезут. Осердишься, бывает, прогонишь — да опять явятся. А не явятся, так сам начнёшь скликать: без челяди-то ведь не обойтись.

Добрыня, смекнув, что дееся в сердце сыновца, опять поманил князя в дорогу. На сей раз в полунощную сторону, в пятинные урёмы. Нужды, по чести сказать, особой нет — народишку там немного, недоимки невелики. Да и не княжеское это дело за данью ехать, куны собирать. Но уж коли начал князь входить в управу, — Плесков проведаль, бабенину родину, — так надо и другие окрайки вотчины оглядеть.

Обрадел Владимир: он готов, он немедля готов в путь; токмо, само собой, с Любавой. Добрыня кивнул: добро, сыновец. Да слегка остудил его: дорога-то дальняя, нать сготовиться, собрать обоз. Да и тебе, княже, возок сладить. При этом он ласково улыбнулся зардевшейся Любаве.

\* \* \*

Обоз двигался тяжело и медленно. Здесь не торная накать, наезженная купецкая дорога меж Новгородом и Плесковым, тут нетронутые снежные урёмы, которые с ходу не возьмёшь. Поперёд поезда пластались битюги, которые тащили еловые волокуши, распахивая наст своим весом и хвойными хвостами. Дале пёрли парные запряжки, кои волокли широкие катки, продавливая снег и образуя путь. А уж по тому пути катили сани, в том числе и князеы.

Возок князев вышел ладный и просторный, не возок — избобка на полозьях. Дверца, оконышко, крыша — всё как водится. Разве что печурки нету. Зато для тепла изнутри всё обито пушной рухлядью: в ногах — медвежья полость, по стенам — потолочине — соболейки, бобры, куницы. Никакой вихорь не возьмёт. Так уверяли князеньку мастеровые, что обшивали возок.

Походная избобка вышла и впрямь справная — стужу не пускала, а тепло удер-

живала. Но пуще всякой полости меховой согрела молодца любовь — аж в жар кидало. И уж тогда воспалённому сердцу не было никакого удержу. Обуреваемый ликованием, новыми, доселе неведомыми чувствами, вымахнет князьенка из возка, взнуздает пристяжную кобылицу и ну — вперёд, по целику, по бездорожью, куда каурая не запалится, не завязнет в безбрежных снегах, а у всадника не перехватит дыхание.

Обоз двигался с рассвета до сумерек. Ежели не достигали очередного острожка али какого семейного починка, ночевали в поле, сбившись округ княжеского возка — так распоряжался Добрыня. А с рассвета вновь пускались в путь.

Разомкнёт Владимирко очи, слыша бряцанье колокольцев да скрип полозьев: где это я? Поднимет голову — в сутемках мерцает светлый лик. Обрадеет князьенка, сладостно улыбнётся, потянется всем своим юным, наливающимся телом, распахнёт дверку возка и полной грудью вдохнёт ядрёный морозный воздух. Здравствуй, батюшка Ярила! — отвесит поклон восходящему солнышку, окинет наливающийся светом простор, метнёт взгляд вдоль обозной вертеи — головка поезда за буераками, а хвост ещё не показался, толь он велик — и засмеётся чему-то, счастливо и безмятежно, как бывает только в юности, а потом захлопнет дверцу и кинется под брянную полость в тепло и сияние просыпающейся, как утренняя зоренька, Любавы.

В Тервиничах, погосте на реке Ояти, обоз стоял целны сутки. К той поре он заметно укоротился — грузённые пушниной да белорыбицей дровни по мере надобы возвращались восвояси. Оставшиеся повозки Добрыня разделил на две части: половина поезда отправилась огибать Онего-озеро с восхода, а половина — с заката. Князеву дорогу он думал сперва торить ошуйкой, правя на Спирков острог, да перед самым выходом переменял решение. С закатной стороны места безлюднее да и до засеки пограничной недалеко. А ну как опять нагрянут нурманьки, как было о третьем годе. Это в городе они смирные, когда с товаром али за товаром, а в лешем раменье — чистые волки. Не сладить ведь будет с разбойниками при толь малой дружине, к тому же разделённой наполю. Уж лучше очурать князя да пуститься с десницы, правя на Тудорову заимку. Так оно, знамо, доле, зато места там обжитее, ежели что — посельщики подсобят.

Князьенка не вмешивался в распоряжения Добрыни, всегда и во всём доверяясь дядьке. Да и не шло, коли по чести, ничего молодцу на ум, до того сердечный жар растоплял весь его ещё невеликий на ту пору рассудок. Ведь ежели даже матёрый глухарь теряет голову, заводя зазывную свадебную песню, то что уж говорить про сеголетошного!

Зато Добрыня, как всегда, был начеку. И сам оберегал сыновца, неназойливо за ним доглядая, и походных людей наставлял, а ещё приставил к князьенке Ставра — своего нового гридя. Это был тот самый скобской вершник, который сопровождал Владимира до бабениной церкви. Ладный, спорый, востроглазый, приказы ловит на лету, исполняет их живо и толково — вот этим он и приглянулся Добрыне. И хоть тамошний волхв остерегал воеводу, мол, Ставр на капище не оследится и от заповедей Перуновых отступил, Добрыню это не остановило, залучил молодца под свою руку без промедления: «Крест сброе не мешает!» А к сыновцу поставил ещё и потому, что Ставр оказался родным братом Любавы. Почитай, свояк князьенке. А коли так, то с одной стороны не будет мозолить глаз — не чужой, чать, а с другой — при надобе и глаз с господаря не спустит.

Саный поезд миновал несколько насельных гнездовий, пересёк реку Водлу и достиг Водлозера. С Волдутова острога Добрыня послал гонца. Путь его лежал

на окрайку Студёна моря, где в устье реки Онеги был срублен последний обонежский острожок. Онежанам было велено передать, что назначенную мыту надлежит доставить к новолунию в Повенец.

Повенец, окрайку Онега-озера, Добрыня определил вершиной долгого пути. Туда нацеливалась вторая половина обоза. Оттуда предстояло всем возвратиться. А поджидая дани с Онежской заимки, здесь можно было дать отдых лошадям да и самим передохнуть перед обратной дорогой, благо, жилые клетки в здешних местах рубились просторные.

Острожек Повенец Владимиру глянулся. Скалистые берега, могучие звонкие сосны, незамерзающие падуны, в которых золотыми рыбками играют радуги, отражаясь в очах Любавы, — всё здесь веселило сердце князьеньки. А оглядел со скальных высот дали — от этих просторов, уходящих за окоём, аж дух захватило. Вот она, его державная вотчина, могучая и прекрасная земля Новгородская, нет ей ни конца, ни краю, как нет конца краю самой жизни. Он порывисто обнял Любаву и приник к её губам. Юная дева и родная земля слились сейчас воедино, и сердце Владимира, переполненное любовью, в этот час воскресило.

Держава его полунощная представилась князю огромным стягом. Острие ратовища, на котором величаво колышится державный стяг, здесь — в Повенце. А он князь, государь этой земли, стоит на самой вершине. Какой силой налились тут рамена Владимира! Но того боле князь ощутил силу духа — могучего и неукротимого, доставшегося от отца-воителя, который его, тогда ещё дитятю, поставил на Новгородский стол!

А накануне возвращения, в последнюю ночь в Повенце, приснился Владимиру сон. Да такой дивный, толь ошеломляющий! Широкая лесная просека, а по ней, как по каналу, плывут струги. Нет не струги, не расшивы да насады — какие-то великие о двух мачтах корабли. И не плывут — их тянут волоком по каткам-брёвнам. Звуков не слышать, но оттого ещё более явственно предстаёт, сколь великая работа здесь творится, словно потаённая тишина усиливает видение. Тьмы и тьмы работников гуртятся вокруг парусников: одни рубят просеку, другие стелют брёвна поперёд корабельного носа, третьи волокут бечевой, спотыкаясь, падая, тяжело дыша и харкая кровью. А над всеми над ними, закаменев в седле, высится могучий всадник. Кафтан его сливается с цветом тайги, зато лицо видится ясно. Оно белое, будто мглистое небо над просекой. На нём чёрные встопорщенные усы и тёмные безумные глаза, в коих восторг мешается с гневом.

Дивный сон обратился в приступ любовной страсти. В ту ночь князь был неукротим. Он довёл юную деву до иступления, толь могучий огонь в нём занялся.

После жарких объятий выскочил князь на мороз — босой, в одной тельной рубахе — и обмер, заворожённый. В очи бросилась небесная озимь, засеянная звёздным житом. А ярче всех горели созвездия Большой Мокоши и Малой Мокоши. Ровно топоры-чеканы, обращённые обушками друг к другу — Большая лезом вниз — голову сложить, Малая лезом вверх — миловать, — они издавали едва уловимый перезвон, будто только-только сшиблись. Не оттого ли чуть дрожала-мигала самая крупная звезда, подъятая всех выше, Матка-Полунощница.

А дале и вовсе дивное стряслось. На небесном огнище раздался шелест, будто к труту поднесли кресало. Тотчас же пыхнули, заискрившись, сполохи и побежали, как весенний пал. И вот уже небесный огонь орлино распахнулся от окоёма до окоёма. Князь глядел во все глаза, не чувствуя стужи. Перед ним разворачивалась какая-то весть — небесная берестяная грамота, багряно-золотая, ему, он чуял это,

предназначенная. Но что на ней начертано, разобрать не мог. Тут выше в зоре между Малой Мокошью и Большой Мокошью возникло млечное, будто скатная жемчужина, пятнышко. Оно то ли приближалось, то ли, проявляясь, увеличивалось, всё яснее открывая очертания. И что же наконец различил князь Владимир? Над орлиным распахом сияния, не иначе небесного отражения державы, возникли не то купола храма, не то шишаки державного венца — вот что открылось ему в той млечной жемчужине.

Видение длилось недолго — всего несколько ударов бегучего сердца, потом тихо сгасло, растаяв в мороке, а следом погасла и багряно-золотая грамота, свернувшись в отемневший свиток, словно орёл сложил крылья. Но очарованный князь всё стоял и глядел в небо, ожидая продолжения чуда, пока лопатки его не пронизал озноб. Его знобила не стужа, его охватил восторг. Не венец ли киевский посулил Дажьбог на вершине его нынешних владений, Повенце? — такая надея запала в сердце Владимира и боле никогда уже не оставляла.

## 5

Исполненный невиданных доселе обретений и ожиданий, кои посулило звёздное небо, возвращался Владимир-свет в Новгород. Уже припекало. Шальный ветерок доносил запахи тальника, обмякающей волглой земли. Душа князя, полная молодецкой буести, словно воздымалась на стремянах, торопясь оглядеть дали и умчаться за окоём встречь грядущим переменам, а сам он летел в открытом расписном возке. Обнимая Любаву, на шее которой мерцало вербной свежестью жемчужное ожерельице, доставленное из Обонежской пятины, Владимир погонял лошадей и улыбался. Верилось ему, что вот так всю жизнь будет он мчаться со своей милой, любя и её, и свет белый, и свой народ, и державу свою величавую, орлинно раскинувшуюся...

Эх! Знать бы где падёшь — там соломки бы подстелил. Забыл, видать, острожку князьенка. Оттого, верно, и Ставра отпустил, повелев скакать в стольный город и запалить встречальные огнища.

Уже недалече был от Новгорода санный поезд, уже показались передовые заставы, как что-то спугнуло коренную кобылицу: ветер ли в ноздри шибанул, тень ли прынула на глаза, горностайка ли через дорогу метнулся, ослепший от весеннего первосвета, да только понесла та кобылица, ровно судьба. Возница на тот час был расслаблен, обуянный сладкими помыслами. Однако же не уступил, удерживая её на вожжах, и окоротил, заворачивая змеино-лебяжью выю, сладил. Да тут на беду — раскат. Сани занесло, потащило под угор, они завалились набок, Любаву выбросило из возка и кинуло на берёзу. А там сучок — аккурат по виску. Только и прошептать успела, бедная, что дитятком занялась.

Загнал коней князь, торопясь достичь градского капища. Корневой волхв Гюрята, который запалил встречальные костры, всё понял без слов и, не мешкая, переменял обряд, стянув смольё на одно огнище. Полюмя взвилось едва не вровень с кумирами. А Гюрята, выпучив глаза, завыл-зарокотал, моля о милости небесной. Распростёртую на санях белицу обступили знахарки-ведуньи — обмывали отварами да дымом духовым обносили. Добрыня, простая душа, нарушаючи родовые запреты, велел привести на капище жертвенную лопоть. Пригнали быка кодольного с кольцом в ноздрях да стельную корову. Бугая трое гридей пронзили сулицами, поставив его на колени перед идолом Перуна. И бык засмертно замы-

чал, вторя степеням волхва. А Добрыня поднял кладенец и разрубил от хребта до вымени стельну корову — только мыкнула сонная, так ничего и не поняв, а из ложесны вывалился в белом облачке, словно из ирия-рая, нерожённый телёнок, до срока явившийся на свет и погибель. Обмазали жертвенной рудой столпы Перуна, Хорса, Оря, Велеса... Пришёл черёд Мокоши. Обмазали её пакши по локти, потом по плечи. «Верни, искусница, беляну!» — возопил Гюрята, умиряя рыком огни капища. Только ни кровинки не прибавилось на лице белицы. Лишь ранка на виске, перестав точиться, затворилась.

Более снега была Любава, когда ставили колоду с её телом на Перыни. Чернее клубов погребального кострища сделался молодой князь. Ещё вчера ликующая Явь выстилала для них бесконечно-дольные пути, сотканые из любви да солнечного света. А нынче все пути затопил морок беспощадной Нави.

\* \* \*

Потеряв Любаву, заболел-зачах в тереме князь Владимир, глаз не казал и видеть никого не желал. Даже дядьку. Как ни бился Добрыня, подсылая к сыновцу то старую Улиту, то гудошников-скоморохов, то бабарих-заговорниц, ничего не помогало, никак и ничем не удавалось смыть морок с души князя.

А тут вдобавок ко всему ненастье обрушилось. Зима-морена, на ту пору уже было присмирившая, опять принялась править, словно навьи чары оковали не только сердце князя, но и его державную вотчину. Ярились шатуны-морозы, вопящей ведьмой металась пурга, хотя давно минул берёзозол и подходил к концу цветень, словно весна совсем заблукала по дороге в Новгородские земли.

Раз, когда позёмка угомонилась в дальней горенке, где горевал-тужил неутешный князь, сама собой растворилась околелка и на раму порхнула синичка. Князь поднял голову. Синичка кивнула, ласково цвиркнула, а из клювика её выпала окатная жемчужина. Князь даже слышал звук, похожий на капель. Однако как ни искал, когда синичка упорхнула, так ничего и не нашёл: то ли та жемчужина закатилась в щель, то ли просто привиделась.

Князь подошёл к растворённому окну, замедленно глянул на волю. И вот тут случилось чудо. Небо, дотоле затворённое на все запоны, вдруг раскрылось и на синь его огненной жар-птицей вымахнуло красно солнышко. А тут и Волхов очнулся. До сей поры не открывавшийся, туживший вместе с князем, Волхов, завидя господина земли Новгородской, вдруг разорвал ледовые пути и отразил на полюбование князю и синь неба, и оперенье той жар-птицы. А следом и синица воротилась, чудесно обернувшись красной девицей на угоре. «Любава!» — вспыхнул князь. Кинулся из терема, сгорстал её, исцеловал, слезами улил, до того обрадел. А за слезами-то теми и не различил, что другая была. Это так потом плели сердобольные бабарихи.

Памороки у молодца мало-помалу сгасли, утишились, душа просветлела, очистившись от навьей мглы. Да только сам он не пожелал возврата в прежнее состояние — кротость да добронравие. Войдя в молодецкую охотку, князь теперь походил на всадника, обратавшего необъезженного жеребца, до того дики подчас становились его выходки, так шарахало его то в одну, то в другую сторону. Но ведь вроде как не сам, виной всему тот неукротимый жеребец, которого взнуздal князь, но который не желает признавать удил, а кобенится и летит без пути-дороги.

Верный дядька поначалу было затужил, завидя, чем обернулись его уроки да

долгие караваны на окрайки вотчины. А потом-то смекнул, куда вынесло молодешеньку, и, обрадованный, что сыновец одолел невзгоду, стал потакать да подыгрывать в его молодеческих игрищах.

Новгород никогда благонаравием не пышился. Выросший на любви да буети, он почитал в князьях норов и вольность. А потому молодому господарю, как любимому чаду, спускалось многое. Поглянулась князю девка — дак ведь то Перун показал, чей наместник здесь князь. О том и волхв твердил на поклонах. А коли случалась пряха и отцы-матки бунчать начинали, тут встречал Добрыня. Где окриком, где усмешливым словом, где ласковым обхождением, а то и гостинцами — кунами да медами — улещал он затевавшуюся котору. Новгород — не Киев, тут живо вече взбулгачит, коли не осекёшь, не остудишь в зачатке.

## 6

Юность Владимира, гульливая да норовистая, что тебе Волхов в половодье, окончилась разом на восемнадцатом году. Из стального града Киева пришло известие о гибели Олега, среднего брата, что сидел в Овруче на Древлянской земле. Погиб Олег, как и прашур-тёзка от коня своего. Токмо в отличие от коня Вещего Олега, его орп пал с моста и, падая, задавил князя. Случай житейский. Недаром толкуют, что конь о четырёх ногах и тот спотыкается. Вот и тут такое стряслось. Так писал Ярополк, старший брат, который сидел на Киевском столе, приглашая молодшего брата Владимира разделить скорбь и справить по Олегу тризну.

И поехал бы, верно, Владимир в стольный град Киев, дабы помянуть родовича, да токмо днём раньше верный гонец донёс Добрыне истинную причину гибели древлянского князя. Оказывается, всё началось с того, что князь Олег застал в своих вотчинах Люта, сына Свенельда. Отпрыск варяжского воеводы, стоявшего на службе у Ярополка, никого не спросясь, вёл на древлянских землях ловитву. А обнаруженный за промыслом держался дерзко и занозчиво. Больше того, на справедливые попрёки хозяина незванный гость ответил грубостью. Князь Олег наглости не стерпел и решил проучить татя. На беду, стычка та завершилась кровью, а рана Люта оказалась смертельной. Олег послал в Киев покаянную весть, объяснив, как всё произошло. Да токмо это не помогло укротить Свенельда. Разъярённый варяг поднял дружину и намётом кинулся в Овруч. Говорят, Ярополк отговаривал его, дескать, остуди сердце, надо прежде разобраться, чем карать. Но варяг остался непреклонен, и, якобы, Ярополк вынужден был последовать за ним, дабы на месте разобраться и унять торох мести. Только всё оказалось тщетно. Варяги пришли карать. Дружина Олега, вышедшая навстречу с миром, была смята и жестоко посечена. В панике остатки её бросились к воротам, и вот тут-то в давке комонь Олегов и был снесён за кромку городского моста.

По зову Добрыни в трапезной княжеского терема собрались наилучшие люди Новгорода: бояре, тысяцкие, купцы, сотские, статейные ремесленники. Сразу порешили, что неча князю делать в Киеве — не для того столько лет растили-лелеяли, чтобы отдавать Владимира на заклание. Ну, а коли так, нать готовиться к бороне, потому как Ярополк, получив отказ, сам явится с псом Свенельдом за князевой головушкой. И тогда сразу перешли к делу, смекая, сколько Новгород готов выставить дополнительно конных гридей, сколько может собрать пешников, какая сбруя понадобится, чего хватает, чего недостаёт..

Сбор тот окрылил Владимира. Он и не ведал, что Новгород толь почитает и

жалует его, ровно любимого сына. Ну, а коли так... Вот тут-то в первый раз князю явственно вспомнились высокие знаки, открывшиеся в ночном повенецком небе.

На зов Ярополка прибыть на тризну Владимир сказался больным, о чём известил его, послав в Киев гонца. Так наставлял Добрыня. А ещё о том по всем концам Новгорода многократно возвестили зычными голосами биричи, дескать, застудился князь на медвежьей ловитве, в жару лежит.

Меж тем по согласию малого стола, на коём собрались только бояре да тысяцкие, отправился князь тайно в немецкую сторону. Дружина варяжская, может, и не понадобится, заключили стольники, да ведь лишний меч что на обороне, что — тем паче — на охоте никогда лишним не бывает.

## 7

Сколь окрылён был Владимир, отправляясь скликать варяжскую дружину, столь задумчивым он возвращался в русские земли во главе наёмной рати. Погиб брат Олег. Впереди встреча со старшим — Ярополком. Что сулит она, то ведомо верно токмо Перуну. Но что несёт приход в родные веси чужеземцев — гадать не надо. Собирая наймитов — свеев, ляхов, чехов... — он манил их хорошей добычей, но ведь уже тогда ныло ретивое. А теперь, когда это войско двигалось на соединение с новгородской дружиной, дабы, сомкнувшись, идти на Киев, у князя вся душа изболелась. Ведь чужаки правят не гостевать-гулевать — бить да грабить. И побиты и посечены будут свои, русичи, даром что они под рукой Ярополка. Вот что терзало его сердце и отчего маялась душа. Он ведь был ещё юн, князь Владимир, и не настудил сердца.

Добрыня при встрече, едва побратались-перемолвились, живо понял, что творится с сыновцом, и смекнул, что не боец князенька, коли его не раззадорить. На пути соединённой рати лежал Полоцк. Нужды здесь задерживаться не было. Что там сотня-другая воев, которые примкнут. Сил и без того достаёт. Князь привёл тьму варягов, того боле тут своих. Почитай, с каждого Новгородского конца ратники — более других Неревский конец выставил да заречный Словенский, ни боярство, ни купечество не поскупились на дружинников; да и другие концы не отстали, и Загородский, и Плотницкий, и Людин. А ещё земли дальние — чудь, кривичи, весь, белозёры. И хотел воевода уже мимо Полоцка полки провести. Да призадумался. Нет нужи в ратной силе, так есть надоба в союзе, тем паче в таком — ведь полоцкий князь Рогволд, хоть и дальний, но Рюрикович, владетель древнего стяга. А войну решают не столько сбоя — мечи да луки, — сколько боевой дух, вознесённый на стружках знамён. Это хорошо ведал старый боец и богатырь Добрыня.

Перво-наперво воевода напомнил князю о Рогнеде, дочери полоцкого князя. Чем ещё молодешеньку завлечь как не девичей лепотой! Владимир запомнил Рогнеду. И хошь юна была тогда, несколько лет назад, когда вместе с батюшкой приезжала в стольный Киев, красота уже запечатлелась на её лице. Дважды Владимиру повторять не понадобилось — велел засылать сватов. Сваты съездили в Полоцк, да вернулись удручённые. Рогнеда отказала Владимиру. Причём как! «Не хошу розути робичича...» Разувание невестой жениха — часть брачного обряда, знак смирения и покорности жены. Не хочешь стать княгиней Новгородской — дело твоё, может, ещё и пожалеешь, что отказала, ведь Новгород куда как сильнее и богаче Полоцка. Но «робичич»! Давно не поминал никто, что мати его холопка, рабыня, что сам он полукровка. Кичишься своей знатностью, чистотой рюриковой



крови! А ну как мы проверим, какова на цвет да на вкус ваша хвалёная кровушка! Осерчал Владимир, вскипел. То-то любо это было Добрыне. А когда донесли, что к Рогнеде сватался Ярополк и она дала согласие, Владимир и вовсе рассвирепел. Вырвав из ножен харалужный меч, он вздыбил коня и метнул войско на приступ.

Полоцк был взят с ходу. Рогволд и вся его родня попали в полон. Ослушников ожидала смерть. Но прежде, по знаку Добрыни, разгорячённый Владимир поял Рогнеду на глазах отца и братьев.

\* \* \*

В Древлянскую землю Владимир заходить не стал, обошёл краем. Ничего хорошего там его не ждало. Могила Олега? Так боевого духа она не прибавит, а вид её, скорее, ввергнет в печаль да токмо усилит душевную смуту. Союз с древлянами? Так он едва ли возможен. Небось, по сию пору помнят норов бабени. Мстя за убитого Игоря, мужа своего, Ольга напустила на древленский Искоростень голубей с горящей паклей и дотла спалила его вместе с насельниками. Какие они с такой памятной метой союзники? И кто поручится, что кровники тех, кого заживо сожгла Ольга, не причастны к гибели Олега?

Думы о бедном брате возвращали его в детство. Владимиру вспомнилось, как играл в младенчестве тятиной серьгой. В ней были три камушка: два греческих адаманта, светлых и сверкавших, и рубин. Может, камень цвета крови и был знаком Олега?

\* \* \*

Весна-красна торопилась на полуночь. Её невидимые кросна непрерывно ткали цветные ковры и выстилали пути-дороги. Столь же стремительно сводное войско двигалось навстречу весне, напрочь вытаптывая весеннее первоцветье. В конце травня полки Владимира, ведомые Добрыней, достигли Киева и спешили на левом отлогом берегу Днепра. Цель была на расстоянии пущенной стрелы.

Зачерпнув шеломом воды, князь утолил жажду, смыл с лица пыль и выпрямился. Крепостные стены Киева, чуть размытые утренней дымкой, отражались в Днепре. Над забрелом всходило Ярило — красное, как стяг князя, оно всё более наливалось золотом. Владимир сощурился, взгляд его скользнул к урезу воды, и тут грудь князя исторгла тяжёлый вздох. Отчего опять затужилось Владимиру? Что встревожило утренний покой? Да минувшее вспомнилось.

Случилось это поболее десяти лет назад, когда он совсем ещё дитятей был. На то лето отец опять увёл дружину из Киева на Дунай воевать болгар. Осиротели они, его сыновья, оставленные на бабку. Осиротела земля Киевская, спокинутая Святославом-защитником. Вот тут-то и появились под крепостными стенами печенеги. Сколько их было? Тьмы и тьмы. Они осыпали город дождём огненных стрел, они вели подкопы, они бросались на приступ. В пожарах, под саблями и стрелами степняков гибли и без того немногочисленные защитники. Силы киян таяли. А помощь не шла. Княгиня Ольга слала тайных гонцов, дабы возвратить непутёвого сына — родные детушки погибают. Да ещё беспрестанно молились, меча поклоны перед писанным ликом и понуждая их, своих внуков, твердить спасительную молитву. «Истуканы древесны, что тесовый тын, — твердила старая, — коли схоронишься за ними — от стрелы уберегут. А крест Христов отведёт и стрелу, и хворь, и напасть житейскую».

А ведь и впрямь отвёл. По тайному подземному лазу выбралась княгиня с внуками на Подол, к самому урезу воды, где поджидал их стружок. Потёмки до поры скрывали побег. Да в свете костров и факелов дозорные печенег заметили беглецов и принялись осыпать их стрелами. По знаку Ольги прянули внуки на дно стружка, тесно прижавшись друг к другу, а она, как крестовая тень, пала сверху, укрыв внучат своей плотью, а главное — духом. И ведь ни одна стрела не коснулась их. В носу и в корме стрел понатыкано. Гребцы какие перебиты, какие ранены. А их беда миновала. «Дух Божий отвёл!» — озарённо твердила Ольга, когда стружок ткнулся в берег на Оболони. Истово молилась и их, внучат, поставила на колени, наставив благодарить Господа за чудесное спасение.

Какие они с братьями были тогда счастливыми, как обнимали друг друга, в радостном тисканье выжимая остатний страх! Как влюблённо-нежно тыкались в бабенины ладони и безропотно исполняли все её наказы! Как обещали всегда чтить её, оберегать сердечное братство, истово служить отчине и дедине!

Слёзы умиления и благодарности заточились из сердца Владимира. Он опять размяк и не в силах был ничего с собой поделаться. Да и то, ведь здесь, вот на этом самом месте завершилось чудесное спасение, и они, трое братьев, сыновей Святославовых, стояли на коленях, вторя молитве.

Добрыня понял состояние сыновца. И на сей раз не стал неволить душу его. Сам всё порешил. Главное что было? Главное, чтобы обошлось всё малой кровью, если кровь киевского князя посчитать за малую жертву. Но так уж распорядились звёзды. Так угодно Перуну, о чём доложил походный волхв. А уж чтобы крови той не оказалось на руках русичей, позаботился сам воевода. Зарезали Ярополка варяжские наймиты, причём споро. Ярополк, обнадёженный и успокоенный, что Владимир предлагает мир, даже трепенуться не успел, когда его пронзили под пазухи варяжскими мечами.

## 8

Видение повенецкое обернулось явью. Владимир занял Киевский стол, обретя венец большой Руси. Он ведь именно так истолковал тот чудесный небесный знак — млечно-жемчужное озарение.

Обходя державные палаты, Владимир то и дело будил свою детскую память, толь много тут было того, что напоминало и о бабене, и об отце, и о своей ранней поре. Ему опять представилась тятиня золотая серьга с тремя камушками. И тут на ум пришла поправка. Рубин — это знак не брата; знаки Олега и Ярополка — белые, обескровленные камни. А рубин рдяный, как красно солнышко на восходе, — это камень его, князя Владимира, восходящего государя Киевской Руси.

\* \* \*

Сев на киевский стол, Владимир первым делом решил избавиться от вчерашних союзников, которые, как он и предчувствовал, начали грабить, сильничать и чинить смертоубийства. Спровадил он варягов миром, решив, что ни к чему обрастать лишними врагами. Наладил их за море Русское, Черным называемое, к византийскому императору Константину. По окрайкам Византии, наследницы угасшей Римской империи, шла пря. Кому же там ратиться, как не таким вот разбойникам, для коих жизнь что своя, что чужая — древесна труха?! Однако,

направляя варягов за море, Владимир тайно предупредил василевса, чтобы тот держал наёмников на расстоянии и в Константинополь не пускал. Князь уже тогда поглядывал на Византийский двор, ожидая ответного дружелюбия.

Оставили варяги русские земли, уплыли за море. Но едва простыл их след, явились под стены Киева печенеги, порешив, что русы ослаблены. Князь и этим дал укорот, показав крепость своих рамён и несокрушимость обоюдоострого меча, с которого, как капустные вилки, летели печенежские головы.

## 9

Черета быстрых и необременительных побед опьянила Владимира, вскружив молодому господарю голову. Он настолько уверовал в крепость своих рамён, свою неукротимую буесь и свою удачу, что перестал держать совет с Добрыней, а на остережения верного дядьки стал просто отмахиваться. Вот какая гордыня обуяла юнака! А ведь где гордыня — там беда рыщет по следу, щеря волчьи клыки.

Было это осенью, в начале вересеня. Князю доложили, что в окрестностях Киева появился печенежский дозор. Владимир, пиравший в трапезной со своими полковниками да юными полонянками, пыхнул, как огонь. Молодецкие хоть да удал, разгорячённые хмельным фряжским вином, метнули его в седло и вынесли за крепостные ворота. Следом вымахнули и верные соратники со своими стременими.

К князю подскакал дозорный гридь. «Эвон!» — он махнул нагайкой в закатную сторону. Солнце, рассечённое мечом долгого облака, окровавило окоём от края до края. На рудом мареве ясно различались чужие всадники. Уносясь за кромку крутояра, они то и дело оглядывались, а на мохнатых их малахаях мотались волчьи хвосты. Князева ловитва кинулась вдогон. Достигнув кромки яра, дружина по знаку вожа раздвоилась и, не сбавляя гона, пошла обтекать сумрачную лощину, забирая чужаков в клещи. А сам князь со своим стременим понеслись прямо.

Стременим у Владимира служил по-прежнему Ставр — брат покойной Любавы. Много раз, особенно по первости, князь порывался избавиться от него — вернуть дядьке, сослать на какую-нибудь дальнюю заставу, а то и возвернуть в Плесков. Но всякий раз останавливала память о Любаве.

Что мучило, что донимало князя и одновременно треножило его? Глаза Ставра. Они постоянно напоминали Любаву и были для Владимира немым укором, хотя в них не мерцало ни укоризны, ни отчуждения, ни тем паче неприязни. Сестрицу свою Ставр любил, в этом Владимир убедился в походе — и оберегал, и лелеял, и диковинками баловал молодшую. А стало быть, потеря любезной сестры, по мысли князя, должна была вызвать в Ставре гнев, родовую вражду, ненависть. Но Ставр оставался к Владимиру по-прежнему ровным, тороватым и исполнительным, ни словом, ни жестом, ни даже взглядом не выдавая своих потаённых, как мнилось князю, чувств. Однажды Владимир вскипел, разъярился, схватил Ставра за грудки, стал трясти его и в гневе обрушил на стременим всю свою неизбывную боль. Чего он добивался, князь Владимир, поди, и сам не ведал. Клял, как винился, и попрекал, как прощения искал, вперившись в глаза Ставра, неотличимые от глаз Любавы. Ставр выдержал всё — и гнев князев, и горькие обидные слова, и взгляда не отвёл от горящих бешеных глаз, а когда Владимир почти сгас, тихо обронил, коснувшись своей груди: «На всё воля Божья!»

Лощину Владимир со стременим пересекли раньше всех. Разгорячённый ло-

витвой, жаждающий боя и крови, князь яростно хлестал оря, норovia настичь врага и первым обрубить волчий хвост. А вымахнул на кромку яра, на миг ослепнув от встречного солнца, и обмер. Волчий дозор оказался на расстоянии полёта стрелы. Но дале, что грозовая туча, стояла тьма печенежской конницы. Лиц степняков было не различить, зато явственно доносился их удовлетворенный хохот: дескать, ловко мы провели урусов и славная сейчас пойдёт охота, и добыча знатная ждёт — и багряный плащ, и золотой шелом, а главное, голова коназа. Несколько мгновений оставался Владимир один на один с тёмной ордой. Следом на крутояр вылетела с двух сторон его дружина. И хотя несравнима она была числом со степняками, но вои были проверенные и отважные. Они с ходу замкнули кольцо, оборонив своего господаря, и замерли, устремив очи поверх степняков и отворив сердца закатному солнцу.

А князь словно одеревенел. Похожее уже случалось с ним. Владимир ослабевал, когда был на пределе ожиданий, и вдруг будто ударялся с размаху о невидимую стену. Но теперь было не просто замешательство, не просто смятение и оцепенение. Запепелев лицом, князь сделался точно истукан, что стоят на Подоле, — таким он показался крещёному стремennomу. Ждать было нечего. Ставр выхватил из рук князя поводья и под покровом живой, покуда не обрушенной стены повлёк его с крутояра вниз. Князь ничему не перечил, словно спеленатый младеня. Столь же покорно он дозволил снять с себя багряную милоть, свой золотой шелом, а потом пополз в схорон, который показал ему Ставр.

Ране здесь на кромке крутояра заготавливали глину, били из неё печи, крепостные увалы, скудельники вертели посуду, а с некоторых пор в оставленных выработках крещёный люд стал погребать своих опочивших собратьев. Лучше места, чем схоронить князя от смерти, по убеждению Ставра, в округе не было. Он выбрал самую неприметную пещеру, сам же остался наверху.

Князь Владимир, дозоривший родимую землю, теперь сам очутился под защитным покровом матери-земли. И впервые за долгие годы, сирота сиротою, остался в полном одиночестве. Его обстала тишина — непривычная, неслыханная тишина. Но она была такая ласковая, такая умиротворяющая, эта тишина, словно руки родимой матушки. Вот она-то и вызволила его из душевного плена. Под целительной лаской невидимых рук лопнули путы, что стискивали его сердце. Сердце князя, могучее и порывистое, вновь погнало по замрелым было жилам руду, и он мало-помалу очнулся.

В звенящей тишине донеслись отдалённые звуки — он различил звон мечей и сабель, яростные крики, засмертное ржанье. Постепенно сшибка сброи смолкла. Зато громче стали чужие голоса, а потом раздался топот многих комоней, которые понеслись с крутояра в лощину. В схороне запахло пылью, которой нанесло в лаз. Звуки сгасли, отделились, но совсем не пропали, доносясь издали.

Сердце князя томилось горечью. Повинные мысли неслись к Добрыне: где ты, дядьку? где ты, родимец? А глаза ел стыд.

Сколько раз он, Владимир, клял свою размытую кровь, пенял на своё полузнатное происхождение, чем неволей попрекал и Добрыню, брата своей матери-простолоудинки. Дядька на это не обижался, а только усмехался, пряча улыбку в сивой бороде: зато гордыни нет, сыновец! Гордыня-то и пыхнула, гордыня-то и обернулась ныне бедой. Но ведь, оказывается, уроки дядьки не пропали даром.

Разве позволил бы гордоус «дати хребет», показать врагу спину, тем паче бежать с поля брани? А он бежал. Чистокровный князь бился бы до последнего, по-

куда бы его ни искололи, ни отсекали руки ни обрушили на колени, как струсилось с бабьюшкой. А он не пожелал доли отца — князя Святослава. Он не пожелал, чтобы у него живьём отрезали уши, нос, язык, выкололи глаза, а потом, уже сгасшему обстругали голову и превратили череп в пивальную чашу. Не пожелал и ускользнул от навших когтей. Да вот даже и эта залёжка... Попади в такую переделку гордоус, разве он полез бы в экое мрелое нырище! А ведь он, князь Владимир, полез, не погнушался...

Глаза князя, обтерпевшиеся в подземном мороке, различили какое-то мерцание. Он смекнул, что пещера просторная. Прополз на коленях к тому месту, откуда исходило лучение. Протянул руку. В углубление стены оказалось погребение — под долонью среди пелен горбились человеческие останки. Прах был давний, пелены почти истлели, но от мощей — не странно ли! — исходили тонкий смолистый дух и слабое тепло.

Князь окончательно пришёл в себя. Рамёна его было поникшие, вновь налились силой. Сердце билось тревожно, но ровно. И самое удивительное, ему вдруг открылось неведомое зрение.

Князь почти воочию узрел просторный дол, а на нём осиянного закатным солнцем всадника. Горел золотой шелом. Пласталась на ветру пурпурно-багряная милоть. Ставр! Это он, его стремённой, его верный товарищ, уводил степняков от княжеского схорона, а ещё, видать, чаял, что заметят княжескую багряницу с дозорной башни. Поле простиралось под крепостные стены. И достиг бы, верно, всадник градских ворот и поднял бы тревогу, да калёная стрела из настигающей степной орды оборвала его полёт. Багряница опала, словно сломанные крылья, и её заслонила волчарья стая.

Князь закрипел зубами, казнясь и кляня себя: как же он был безрассуден, как самонадеян, а в итоге сгубил и своих верных полковников, и своего преданного стремённого. Разве может ему после этого быть оправдание, и разве возможно искупить эту вину!

Меж тем под крутояром, где в схороне погребальном таился князь, вскоре вновь раздался конский топот. Смекнув, что полонили не князя, степняки вернулись назад и стали обыскивать округу. Они секли саблями лядины, шихали в печуры копьями, а в иные кидали горящие головни.

Владимир обнажил меч. Теперь он спину врагу не покажет. Да и некуда отсюда бежать — токмо вперёд, токмо на врага. А живым он не дастся!

Нет, погибать Владимир не хотел. Он был молод, только-только взошёл на киевский стол, и сердце его наполнилось великими замыслами. Меж тем гортанные голоса приближались.

Кляня себя за гордыню и опрометчивость, князь обращался к праотцам — Хорсу, Орю, Велесу... и давал зарок, что, коли останется жив, воздвигнет на Подоле новое невиданное доселе капище и златом зальёт вежды Перуну. Не отозвались праотцы.

По кромке пещеры уже заплясали сполохи. Князь обратился к родной земле, суля оборонить её от врагов и поставить новые засеки, заслоны, остроги и порубежные городки. И этого оказалось мало.

Горящая головня сунулась в пещеру. Князь выставил меч, а другой рукой закрыл грудь. Долонь нащупала ладанку — ту самую, где хранился кипарисовый крест и пёрышко голубя. Князь истово зашептал бабенину молитву, а ещё представил её скобскую церковь и дал обет, что воздвигнет такую же. И случилось чудо.

Головня пыхнула и сгасла. Крики ворового отдалились. А вскоре в стане степняков началось смятение. То на выручку непутёвому сыновцу спешил с киевской ратью верный Добрыня. Сполах багряный, поднятый Ставром, не остался не замеченным.

## 10

Церковь Владимир воздвиг, не поскупился, краше на ту пору по всей Руси не было.

И кумиров киевских князь не обошёл — изукрасил золотом да серебром. Вислые усы Перуна струились, что днепровские стремнины.

И заставы стал возводить Владимир на порубежье, и городки.

Но первым делом князь повелел схоронить павших. Полковников, кои полегли на закате, обратив очи Яриле, погребли в братской могиле, а над ними возвели курган, и первый шелом земли принёс туда князь Владимир. Воина Ставра, которого смертельно раненного степняки бросили близ Василевой засеки, схоронили по-христиански, положив в ту пещеру, где спасался князь.

После была тризна, ласковое поимённое поминание. А ещё покаяние Владимира перед всем миром, коленопреклонённое, громогласное, со слезами и скорбью великой.

А на седьмой день князь устроил пир в честь своего чудесного спасения. Семь дён гулял стольный Киев. Мёд-пиво лилось рекой, и по усам текло, и в рот попадало. Гуляли все от мала до велика, от воеводы до последнего калики. Гуляли так, что даже кумиры на Подоле заходили ходуном, как отмечал летописец, — Велес в дуду дудел, Мокош долгими пакшами рукоплексала, а Хорс пустился в присядку. То-то любо было! Вот тут на честном пиру и пошёл гусярный звон да зачин славутицы-былины. Вот тогда и выкатилось Красно Солнышко, как стали величать былинщики-гусяры киевского князя. А одесную в тех былинах встал Добрыня Никитич, верный дядька и пестун Владимира свет Святославовича.

\* \* \*

Владимир правил Русью, как заповедали отчичи и дедичи. Ходил в походы, усмиряя мечом и огнём степняков, ставил порубежные заслоны, а ещё выглядывал себе союзников, присматриваясь к ближней Европе и обращая свой взор на полудень — в сторону Византии.

На ту пору Византийской империей правили братья Василий и Константин, сыновья Константина Багрянородного. Держава переживала не лучшие времена. По окрайкам Византии шла пря, то здесь, то там пыхали мятежи. Василия, старшего из братьев, который был коренником, один за одним предавали его собственные военачальники. Переманивая на свою сторону порубежных наймитов, самозванцы-императоры захватывали целые провинции. На полудени хозяйничали арабы, на восходе — легионы иверийцев и армян. На закате бесчинствовали болгары. На полуночи, в Крыму, восстал Херсонес. Василий, засевший в Константинополе, становился императором без империи. Верных приближённых у него почти не осталось. Он лихорадочно искал союзников. Наконец перебрав всех, обернул свой взор в полуночную сторону. В своё время киевский князь Святослав помог Византии укротить болгар. Теперь василевс обратился к его сыну. Никто боле, кроме варваров, не мог помочь защитить Македонскую династию от крушения — только русы, мужественные, беззаветно храбрые и стойкие воины. Но дабы это был не

короткий военный союз, а связь нерушимая, император Василий предложил князю Владимиру руку своей багрянородной сестры.

Владимиру было лестно это предложение. Руки порфиноносной Анны добивался германский король Оттон I, мечтавший оженить своего наследника-тёзку. Французский король Гуго Капет просил византийскую невесту в жёны своему сыну Роберту. А болгарский царь Борис сам хотел обручиться с Анной. Однако небеса распорядились иначе. Предложение на брачный союз получил князь Владимир. Супружество с багрянородной Анной открывало русскому князю круг самых знатных европейских дворов, и он принял это предложение.

Византийские послы, коим было поручено оговорить условия брачного договора, прибыли в Киев в конце червеня, когда уже отцвели сады. Их галеры поднялись по Днепру до порогов. Возглавлял посольство митрополит севастикийский Феофилакт. Могучий, что дядьку Добрыня, он сразу пришёлся ко двору киевского князя. И когда переговоры были завершены и они сам-друг взошли на помост вслед за князем, то показалось киевскому люду, что у Владимира выросли могучие крылья: одесную — воин Добрыня, а ошую — пастырь Феофилакт, коему суждено было стать первым наместником древнерусской церкви.

Много обетов дал Владимир послам, скрепив пиргамин своей господаревой печатью. Дорого Киеву обойдётся багрянородная невеста, вздыхали бояре, загибая пальцы. Но князь не отступил, час за часом исполняя взятые обязательства.

Перво-наперво Владимир крестился. Давно приуроченный к этому, он принял христианскую веру, крестившись в новой церкви в Василеве, которую только-только построил по обету. А имя крестильное он не выбирал. Оно давно лежало на сердце. И не потому токмо, что по-гречески Василий означало василевс, правитель, царь. В этом месте, где взошла и засияла новая церковь, отдал Богу душу воин Ставр, у которого было такое же крестильное имя.

Это было первым и определяющим условием византийского двора. Как токмо Владимир примет христианскую веру, так василевсы отдадут ему в жёны свою сестру, тотчас отправив её с челядью из Константинополя в Киев. Свидетельство крестильного обряда было послано, слово Владимир сдержал. Однако ответа — порфиноносной невесты — Владимир не дождался.

Вторым условием была военная помощь. Тут князь тоже не замедлил. Всю осень и зиму на днепровских крутоярах строились лоды, насады и расшивы, а по весне Владимир отправил на помощь василевсам шеститысячную дружину отборных витязей. Невеста не появилась.

По весне 988 года, на пятидесятницу, которая пала на 27 червеня, Владимир крестил бояр, гридей и весь киевский люд, а перед тем велел порушить поганские капища, сбросив с днепровских круч и Перуна, и Хорса, и Мокош... О том и другом гонцы известили Константинополь. Анны не было.

Наконец весной следующего года Владимир выполнил последнее обязательство — взял приступом Херсонес, который переметнулся к врагам василевсов. Это было 7 цветеня — второго весеннего месяца, как отмечает летописец.

В полночь окрестности поверженного города озарились невиданным сиянием. Но не пожары, ещё не остывшие, были тому причиной — сияло небо. Владимир, разгорячённый схваткой, вскинул голову. На небосводе с полуночной стороны плясами сполохи. Видение, возникшее над Повенцом, повторилось. Снова распласталась от окоёма до окоёма багряно-золотистая грамота. И опять над чеканами двух созвездий вспыхнула сияющая жемчужина. Только на сей раз видение

не мглилось и мерцало, а лучилось ясно и чётко. Посреди млечного марева угадывались соборы и блистающие купола — знаки христианского венца. Вот что было предначертано свыше и к чему князь приуговлялся ещё в Повенце. Понял Владимир и то, что там, в полуночной стороне небесная обитель и опустится — именно туда определил её Всевышний, выбрав остров в Студёном море. А ему, Владимиру, даётся знать, что битвы его были не напрасны, а труды и дни князя промыслительны и угодны Богу. Вот что со слезами на глазах шептал Владимир, обратив лицо сияющему зареву, сиречь огненным столпам, как отразил небесное видение летописец-очевидец.

В Константинополь отправилась весть, что Херсонес покорён и все обязательства перед Византией Владимир выполнил. Где же долгожданная багрянородная невеста? Вдохновлённый и обласканный видением, князь задавал вопрос твёрдо и грозно. Ответом ему было молчание.

Владимир ведал о коварстве Константинопольского двора. Ведь в гибели отца — князя Святослава — были замешаны придворные василевса, направившие на ослабленных битвами русов шакалов-печенегов. Но до конца в коварство всё же не верил и терпеливо ждал. Тут вмешался Господь. Над полуденным окоёмом, над Византийскими землями появилась яркая комета. Три летние недели суровая Отцова бровь озаряла небо. Но даже и этот знак не подстегнул василевсов. Наконец в месяц листовой, 25 числа, Константинополя достиг шёпот Всевышнего. Обернувшись землетрясением, этот шёпот обрушил свод императорской церкви. Только после этого, почувствовав наконец Божий гнев, послали василевсы багрянородную сестру, назначенную киевскому венцу.

Русь, по велению Свыше, сочеталась с Византией, войдя в лоно христианской церкви, а первым русским православным государем стал он — великий князь Киевской Руси равноапостольный Владимир.